

С. Т.
АКСАКОВ

Сочинения



Сергей Тимофеевич Аксаков

Собрание бабочек (Воспоминания #1)

«Собрание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое хотя недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет; книжка на русском языке (которой названия не помню) с лучочными изображениями зверей, птиц, рыб, попавшая мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски, была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечаяемо моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться...»

Сергей Тимофеевич Аксаков
Собрание бабочек
(Рассказ из студенческой жизни)

Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое хотя недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет; книжка на русском языке (которой названия не помню) с лубочными изображениями зверей, птиц, рыб, попавшаяся мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски, была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечаяемо моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому не известною, драгоценным и важным открытием, которое надобно записать и сообщить другим. С умилением смотрю я теперь на эти две тетрадки в четвертку из толстой синей бумаги, какой в настоящее время и отыскать нельзя. На страничках этих тетрадок детским почерком и слогом описаны: зай-

чик, белка, болотный кулик, куличок-зук, *неизвестный* куличок, плотичка, пескарь и лошок; очевидно, что мальчик-наблюдатель познакомился с ними первыми. Вскоре я развлекся множеством других новых и еще более важных интересов, которыми так богата молодая жизнь; развлекся и перестал описывать своих зверков, птичек и рыбок. Но горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим божий мир, не остывала в душе моей, и через пятьдесят лет, обогащенный опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака, я оглянулся с любовью на свое детство – и попытки мальчика осуществил шестидесятилетний старик: вышли в свет «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Еще в ребячестве моем я получил из «Детского чтения»[1] понятие о червячках, которые превращаются в куколок, или хризалид, и, наконец, в бабочек. Это, конечно, придавало бабочкам новый интерес в моих глазах; но и без того я очень любил их. Да и в самом деле, из всех насекомых, населяющих божий

мир, из всех мелких тварей, ползающих, прыгающих и летающих, – бабочка лучше, изящнее всех. Это поистине «порхающий цветок», или расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром, или испещренный неопределенными цветами и узорами, не менее прекрасными и привлекательными; это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, который сосет оно своим хоботком, у иных коротеньким и толстым, а у иных длинным и тоненьким, как волос, свивающимся в несколько колечек, когда нет надобности в его употреблении. Как радостно первое появление бабочек весной! Обыкновенно это бывают бабочки крапивные, белые, а потом и желтые. Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы, когда почти нет еще ни зеленой травы, ни листьев, когда вид голых деревьев и увядшей прошлогодней осенней растительности был бы очень печален, если б благодатное тепло и мысль, что скоро все зазеленеет, зацветет, что жизненные соки уже текут из кор-

ней вверх по стволам и ветвям древесным, что ростки молодых трав и растений уже пробиваются из согретой влажной земли, – не успокоивала, не веселила сердца человеческого.

В 1805 году, как известно, был утвержден устав Казанского университета, и через несколько месяцев последовало его открытие; между немногими преподавателями, начавшими чтение университетских лекций, находился ординарный профессор натуральной истории Карл Федорович Фукс, читавший свой предмет на французском языке. Это было уже в начале 1806 года. Хотя я свободно читал и понимал французские книги даже отвлеченного содержания, но разговорный язык и вообще изустная речь профессора сначала затрудняли меня; скоро, однако, я привык к ним и с жадностью слушал лекции Фукса. Много способствовало к ясному пониманию то обстоятельство, что Фукс читал по Блуменбаху[2], печатные экземпляры которого на русском языке находились у нас в руках. Книга эта, в трех частях, называется «Руководство к естественной истории Д. Ион.

Фридр. Blumenбаха, Геттингенского университета профессора и великобританского на- дворного советника, с немецкого на российский язык переведенное истории естественной и гражданской и географии учителями: Петром Наумовым и Андреем Теряевым, печатано в привилегированной типографии у Вильковского. В Санктпетербурге 1797 года».

Между слушателями Фукса был один студент, Василий Тимьянский[3], который и прежде охотнее всех нас занимался языками, не только французским и немецким, но и латинским, за что и был он всегда любимцем бывшего у нас в высших классах в гимназии преподавателя этих языков, учителя Эриха. Эрих был сделан адъюнкт-профессором и читал в университете латинскую и греческую литературу. Личность адъюнкта Эриха, который, как все говорили, имел глубокие познания в древних и новых языках, была в высшей степени карикатурна и забавна, а русский язык он так коверкал, что без смеха нельзя было его слушать. Впрочем, к русскому языку он обращался только в крайности, видя иногда, что ученик не понимает его, хо-

тя он для лучшего уразумения прибегал уже ко всем ему известным языкам. Эрих даже и фамилии наши переиначивал по-своему. Студента Безобразова, напр., звал «гер Абразанцов», а меня то «гер Аксаев», то «гер Ачаков» и никогда Аксаков, хотя очень меня знал, потому что нередко бывал у адъюнкта Г. И. Карташевского, у которого я прежде жил. Тимьянский передразнивал Эриха в совершенстве. Я также умел несколько передразнивать своего наставника, и мы с Тимьянским нередко потешали студентов, представляя встречу на улице и взаимные приветствия наших адъюнкт-профессоров. Но виноват! воспоминания юношества увлекли меня в сторону, возвращаюсь к предмету моего рассказа. Этот студент Тимьянский, считавшийся у нас первым латинистом и, вероятно, знавший тогда не очень много по-латыни, скоро обратил на себя внимание Фукса, понравился ему за свою латынь и стал ездить к нему на квартиру: Фукс нанимал прекрасный дом Жмакина на Арском поле. Однажды Тимьянский при мне рассказывал, что видел у профессора большое собрание многих насекомых, и в том числе

бабочек, и что Фукс обещал выучить его, как их ловить, раскладывать и сушить. В эту самую минуту я только что воротился в университет с кулачного боя, который видел первый раз в моей жизни. Это было в январе или феврале 1806 года. Я сам в свою очередь горячо рассказывал товарищам о виденном мною и пропустил мимо ушей слова Тимьянского.

Тогда в Казани происходили по зимам, на льду, большого озера Кабана, знаменитые кулачные бои между татарскими слободами и русскими суконными слободами, состоявшими из крепостных крестьян помещика Осокина; и татарские и русские слободы были поселены по противоположным берегам озера Кабана.[4]

Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национальности. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случалось одолевать татарам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездей-

ствии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых; наконец, вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита; татарин полетел с ног и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену – и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятити их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. Мне сказывали, что когда случалось одолевать татарам, то они преследовали русских даже в их избах и что тут-то вновь восстанавлился ожесточенный бой, в котором принимали участие и старики, и женщины, и дети: дрались уже чем ни попа-ло. Такая схватка всегда оканчивалась бегством татар.

Весною 1806 года я узнал, что Тимьянский вместе с студентом Кайсаровым уже начинают собирать насекомых и что способ собирания, то есть ловли, бабочек и доски для раскладывания их держат они в секрете. Тогда только вспомнил я, что уже слышал об этом. Вдруг загорелось во мне сильное желание самому собирать бабочек. Я сообщил об этом другу моему, студенту А. И. Панаеву, и возбудил в нем такую же охоту. Сначала я обратился к Тимьянскому с просьбой научить меня производству этого дела; но он не согласился открыть мне секрета, говоря, что тогда откроет его, когда сделает значительное собрание, а только показал мне несколько экземпляров высушенных бабочек и насекомых. Это воспламенило меня еще больше, и я решился сейчас ехать к профессору Фуксу, который был в то же время доктор медицины и начал практиковать. Я приехал к нему под предлогом какого-то выдуманного нездоровья. В кабинете у профессора я увидел висящие по стенам ящики, в которых за стеклами торчали воткнутые на булавках, превосходно сохраненные и высушенные, такие прелест-

ные бабочки, каких я и не видывал. Я пришел в совершенный восторг и поспешил объяснить кое-как Фуксу мою страстную любовь к естественной истории и горячее желание собирать бабочек, прося его в то же время научить меня, как приступить к этому делу. Профессор был очень доволен и охотно рассказал мне все подробности этого искусства, не мудреного, но требующего осторожности, терпения и ловкости. Он тут же показал мне все нужные инструменты как для ловли бабочек, так и для раскладывания их. Я знал, что Панаев на все это будет гораздо искуснее меня: он был великий мастер на все механические мелкие ручные работы, – и потому выпросил позволение у Фукса привести к нему на другой же день Панаева с несколькими живыми бабочками, которых профессор обещал при нас же разложить для сушки. А как я хотел не только ловить бабочек, но и собирать гусениц для того, чтобы бабочки выводились у меня дома, то Фукс объяснил мне и снабдил меня наставлениями, как различать червяков, из которых должны выводиться бабочки, от тех червей, из которых выводятся

другие разные насекомые, как их содержать, чем кормить и вообще как с ними обращаться. Мы с Панаевым также решили хранить в тайне наше предприятие не только от Тимьянского, но и от всех других студентов. На другой день, наловив кое-каких бабочек в саду, отправились мы к Фуксу, который при нас же разложил двух бабочек, а третью дал разложить Панаеву, желая, чтобы он первый опыт сделал у него на глазах. Дело происходило следующим образом: взяв бабочку снизу осторожно за грудь большим и указательным пальцами, Фукс сжал ее довольно крепко; это нужно для того, чтобы бабочка лишилась чувств, не билась крылушками и не сбивала с них цветную пыль. Для этого сжатия имелись особые стальные щипчики; но Фукс сказал и показал нам, что мы можем обойтись и без них. Потом он взял булавку, величина которой должна быть соразмерна величине бабочки, и проколол ей спинку сверху вниз, выпустив конец булавки настолько, насколько было нужно для втыканья его в дерево. Пропустив кончик булавки сквозь карточку, он слегка нагрел его на свечке: предосторож-

ность, необходимая для того, чтобы тело насекомого присохло и не вертелось на булавке. Потом взял гладкую липовую дощечку (липовая мягче других) с вынутыми во всю ее длину ложбинками[5]: пошире для бабочек, у которых брюшко потолще, и поуже для тех, у которых туловище тоньше. В одну из таких ложбинок Фукс опустил туловище бабочки и воткнул конец булавки настолько, чтобы крылушки пришлись как раз к поверхности дощечки. Наконец, он взял узенькие полоски почтовой бумаги, нарочно для того нарезанные, наложил одну из них на верхнее и нижнее крылья бабочки, прикрепил вверху булавкой и особым инструментом, похожим на длинную иглу или шило (большая длинная булавка может всегда заменить его), расправил им крылья бабочки, сначала одно, а потом другое, ровно и гладко, так, чтобы верхнее не закрывало нижнего, а только его касалось; в заключение прикрепил, то есть воткнул булавку в нижний конец бумажки и в дерево. Очевидно, что все умение и ловкость заключались в расправлении крыльев бабочки: надобно было их не прорвать, не измять и

не стереть с них пыль. Через несколько дней бабочка высохнет; тогда бережно снимаются с нее бумажки, и бабочка перемещается в ящик или шкаф, в котором она должна храниться. Третью бабочку разложил Панаев, и с первого раза так искусно, что Фукс, повторяя беспрестанно: «*Bien, tres bien, parfaitement bien*», [6] провозгласил, наконец, торжественно «*Optime!*». [7]

И вот закипела у нас с Панаевым молодая пылкая деятельность! Липовые сухие доски и дощечки гладко выструганы под личным присмотром моего товарища, а ложбинки искусно и ловко вынуты им самим; отысканы толстые, так называемые *фунтовые*, булавки для раскладки и прикрепления бабочкиных крыльев; нашли и плотную почтовую бумагу, которая не прорывалась, как это случилось у Фукса. Рампетки для ловли бабочек сделали двух сортов: одни с длинными флеровыми или кисейными мешочками, другие – натянутые, как рампетки, которыми играют в волан. Рампеткой первого вида надобно было подхватывать бабочку на лету и завертывать ее в мешочке, а рампеткой второго вида надобно

было сбивать бабочку на землю, в траву, или накрывать ее, сидящую на каком-нибудь цветке или растении. Первый способ очевидно лучше: пыль с бабочки стирается меньше; но действовать рампеткою с мешочком требовалось больше ловкости и проворства. В два дня все было готово, и благодаря неусыпным, горячим хлопотам моим, а также стараниям и уменью моего товарища все было придумано и устроено гораздо лучше, чем у профессора Фукса.

Раскладывание бабочек Панаев решительно взял на себя: разложив их еще несколько экземпляров, он стал совершенным мастером в этом деле. Ловлю бабочек за городом мы положили производить вместе, кроме каких-нибудь особенных случаев, а воспитание червей, до превращения их в хризалиды, отыскивание готовых куколок и хранение тех и других, до превращения их в бабочки, я принял уже на свое попечение. Кроме того, что я имел особенную охоту к наблюдению за жизнью и нравами всего живущего в природе, меня подстрекнули слова Фукса, который сказал, что бабочки, выводящиеся дома, будут са-

мыми лучшими экземплярами, потому что сохраняют всю первородную яркость и свежесть своих красок; что бабочки, начав летать по полям, подвергаясь дождям и ветрам, уже теряют несколько, то есть стирают или стряхивают с себя цветную пыль, которою, в виде крошечных чешуек, бывают покрыты их крылья, когда они только что выползут из скорлупы хризалиды, или куколки, и расправят свои сжатые члены и сморщенные крылушки.

Оставив адъюнкт-профессора Л. С. Левицкого, у которого я не в силах был прожить более двух месяцев, о чем сказано подробнее в моих «Воспоминаниях», я жил тогда, в первый раз в моей жизни, сам по себе, полным хозяином, на собственной квартире. Я нанимал флигель у какого-то обруселого немца Ег. Ив. Германа, сын которого, Александр, был некогда моим гимназическим товарищем, а теперь служил в казанском почтамте; он жил у меня во флигеле и часто бывал моим спутником, даже руководителем на всех общественных и народных гуляньях, до которых был большой охотник. В настоящее время, то

есть весной, в Казани происходило обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье, и вот по какому поводу: как только выступит из берегов Волга и затопит на несколько верст (иногда более десяти) свою луговую сторону, она сливается с озером Кабаном, лежащим от нее, кажется, верстах в трех, и, наполнив его неподвижные воды, устремит их в канал, или проток, называемый Булак (мелкий, тинистый и вонючий летом), который, проходя сквозь всю нижнюю часть Казани, соединяется с рекой Казанкой.[8]

Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть: «Лодки пришли» мгновенно оживляет весь город.[9]

По берегам Булака устраивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на святой неделе. Между множеством разного товара, между

апельсинами и лимонами привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравленой, то есть покрытой внутри и снаружи или только изнутри зеленым лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячьих игрушек, как то: уточек, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам и особенно около Булака толпы мальчишек и девчонок, все вооруженные новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водою друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного, торга и гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских и русских, городских и деревенских – очень живописны. Мы с Германом часто посещали Булак, и Герман очень был огорчен, когда я вдруг объявил ему, что не намерен более шататься по Булаку, что у меня другое на уме, что все свободное время я буду посвящать собиранию бабочек, воспитанию гусениц и

отыскиванию хризалид и что буду очень рад, если он станет помогать мне. Герману не нравилось мое намерение, ему приятнее и выгоднее было иметь меня своим товарищем на гуляньях, но делать было нечего, и он волею-неволею согласился быть моим помощником в новых моих занятиях. Комнат было у меня довольно, и я назначил одну из них, совершенно отдельную, исключительно для помещения, на особых столах, стеклянных ящичков с картонными крышками, картонных коробок и даже больших стеклянных банок, в которых должны были сидеть разные черви или гусеницы, достаточно снабженные теми травами и растениями, которые служили им обыкновенной пищей. Для того чтобы воздух мог проходить в ящички и коробочки, крышки их были все исколоты толстой булавкой. То же сделал я с бумагою, которою обвязывались стеклянные банки. В этих мелких и скучных хлопотливых приготовлениях Герман был, точно, моим помощником. Впоследствии, когда собрание гусениц сделалось довольно многочисленно, в комнате, где жили червяки, распространился сильный и против-

ный запах, так что без растворенного окна в ней нельзя было долго оставаться, а я любил подолгу наблюдать за моими питомцами; Герман же перестал и ходить туда, уверял даже, что во всем флигеле воняет червями, что было совершенно несправедливо. Для дневных, сумеречных и ночных хризалид были назначены особые ящички. Квартира моя имела еще то удобство, что находилась на каком-то пустыре, окруженном с двух сторон оврагами, идущими к реке Казанке и заросшими травой. Я немедленно осмотрел их с большим вниманием и, к удовольствию моему, увидел, что там летают разные бабочки. У Панаева, который жил на Черном Озере, вместе с четырьмя братьями, в собственном доме, был под руками тоже довольно большой сад, превращенный частью в огород, совершенно запущенный, что, однако, не мешало залетать туда бабочкам. Благодаря таким благоприятным для нас обстоятельствам мы с Панаевым в первые два дня, не выходя еще за город, поймали с десятков таких бабочек, которые хотя были довольно обыкновенны, но могли уже с честью занять свое место в на-

шем собрании. Я сказал, что мы решились было вести наше дело по секрету от всех товарищей. Но, увы! какие тайны сохраняются строго! На другой же день знали в университете о нашем предприятии. (Вероятно, разболтали меньшие братья Панаева, Владимир и Петр, которые были тогда своекоштными гимназистами.) Мы решились более не скрываться, да и Тимьянский с Кайсаровым последовали нашему примеру; но тем не менее между нами установилось открытое соперничество. Собрание Тимьянского имело уже то преимущество, что было старше нашего и успело собрать до тридцати экземпляров тогда, когда у нас не было еще ни одного; но мы имели более свободного времени, более средств и скоро потом сравнялись с своими соперниками. Впоследствии студенты разделились на две стороны, из которых одна более хвалила собрание бабочек у казенных студентов, а другая – у своекоштных, то есть у меня и Панаева. – Как нарочно, несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и сады за Арским полем. Мое нетерпение возрастало с каждым часом. Я, даже не испытыв

еще настоящим образом удовольствие ловить бабочек особенно редких или почему-нибудь замечательных, – я уже всею душою, страстно предался новому увлечению, и в это время, кроме отыскивания червяков, хризалид и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове; Панаев разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец, в один воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый с двумя рампетками: одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая, запасная, без ручки, висела на снурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик, в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли когда-нибудь, сделавшись уже страстным ружейным охотником, после продолжительного ненастья, продержавшего меня несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге, с ружьем и легавой собакой, в изобильное первоклассною, благородною дичью болото!.. Да и какой весенний день сиял

над нашими молодыми головами! Солнце из-за рощи выходило к нам навстречу и потоками пылающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами, так быстро пробежали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле...[10]

И вот он, наконец, перед нами, старый, заглухший сад, с темными, вековыми липовыми аллеями, с своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называвшийся тогда Болховским.[11]

Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух, но я скоро забыл о нем. Мы остановились с Панаевым, чтобы перевести дух и условиться в наших поисках. Мы решились пройти первую представившуюся нам широкую поляну вместе, то есть на расстоянии шагов ста один от другого. Только тронулся я с места по росистому лугу, в одну минуту промочившему мои ноги, как увидел, что Панаев побежал и начал что-то ловить своей рампеткой. Я забыл наше условие, чтобы не сходитьсь друг с другом, если другой не будет звать, и чтобы никогда обоим не гоняться за одной до-

бычей. Я опрометью прибежал к Панаеву и увидел, что он, точно, ловит какую-то красивую бабочку, никогда мною не виданную. Я бросился ему помогать, несмотря на его крик, чтобы я ушел прочь, чтобы я не мешал ему. Но, увы, это было уже поздно. Бабочка, испуганная нашим преследованьем, особенно потому, что я забежал ей встречу, поднялась вверх столбом и, перепорхнув через аллею, скрылась от наших глаз. Панаев очень сердился и очень журил меня и положительно сказал, что если я в другой раз так поступлю, то он никогда вместе со мной ходить не будет. Он уверял, что бабочка была необыкновенно красива и что едва ли это не была Ириса или Глазчатая Нимфа. Я очень огорчился, очень раскаивался, очень досадовал на себя и дал искреннее обещание, даже побожился, что вперед этого никогда не будет. Я в точности сдержал обещание. — Мы разошлись опять, каждый на свою черту, в назначенном расстоянии, и я скоро увидел, что Панаев опять побежал. В самое то время, как товарищ мой, что-то поймав, остановился и стал вынимать из мешочка рампетки, когда мне

стоило большого труда, чтобы не прибежать к нему, не узнать, не посмотреть, что он поймал, – мелькнула перед моими глазами, бросающая от себя по траве и цветам дрожащую и порхающую тень, большая бабочка, темная, но блестящая на солнце, как эмаль. Я бросился ее преследовать и очень счастливо: очень скоро поймал; руки у меня дрожали от радости, и я не вдруг мог подавить слегка грудку моей пленницы, чтобы привести ее в обморочное состояние; без этой печальной, необходимой предосторожности она стала бы биться в ящичке и испортила бы свои бархатные крылушки. Эту дневную бабочку я сейчас узнал: она находилась уже в собрании у Тимьянского и была в точности определена по Блуменбаху и утверждена Фуксом: она называлась Антиопа. Но каким жалким образом описывает ее Блуменбах: «Антиопа, бабочка Нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатые, черные, с белесоватым краем». Вот и все. Ну какое понятие можно получить из этого описания? К тому же и полос на ней никаких нет. Тогда как Антиопа, несмотря на скромные свои краски, уже по величине своей принад-

лежит к числу замечательных русских бабочек; темнокофейные, блестящие, лаковые ее крылья, по изобилию цветной пыли, кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты как будто мохом или тоненькими волосками рыжеватого цвета; края крыльев, и верхнего и нижнего, оторочены бледно-желтою, палевою, довольно широкою зубчатою каемкою, вырезанною фестончиками; такого же цвета две коротеньких полоски находятся на верхнем крае верхних крыльев, а вдоль палевой каймы, по обоим крыльям, размещены яркие синие пятнушки; глаза Антиопы и булавообразные усы, сравнительно с другими бабочками, очень велики; все тело покрыто темным пухом; испод крыльев не замечателен: по темному основанию он исчерчен белыми тонкими жилочками.[12]

Я был очень доволен, что у нас есть Антиопа. Поймав еще несколько бабочек, не известных мне по имени, которых я или вовсе не видывал, или видел издалека, сошелся я, наконец, с Панаевым. Он также поймал Антиопу и таких же яркоголубых и красно-золотистых маленьких бабочек, какие были и у ме-

ня в ящичке; я, сверх того, нашел несколько червей, из которых один, очень мохнатый, известный под именем Поповой Собаки, обещал очень красивую сумеречную бабочку. Гусениц бабочки я узнавал по тому, что они имеют обыкновенно восемь пар ног. Очень довольные таким началом, мы сели отдохнуть под непроницаемой тенью старых лип и даже позавтракали, потому что имели предусмотрительность запастись хлебом и сыром. Позавтракав, мы разошлись в разные стороны, назначив место, где мы должны сойтись. Болховской сад был нам хорошо известен; мы хаживали в него гулять, а также и в другой, кажется рядом с ним лежащий, Нееловский сад.

Я не видал этих садов пятьдесят два года. Они представляются мне теперь огромными и таинственными и некоторые места совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть может, что они совсем не таковы и даже не велики. Мне не раз случалось увидеть в совершенных летах, после долгого промежутка, то место, где в ранней молодости часто гулял, или тот дом, в котором я долго жил; всегда я бывал поражен тем, что находил их миниа-

турными в сравнении с теми образами, которые жили в моей памяти. Я боюсь, чтобы того же не случилось с садами Болховским и Нееловским, и потому предупреждаю моих читателей, что я пишу обо всех предметах так, как они казались мне за пятьдесят лет.

Побродив довольно долго по полянам и луговинам и поймав довольно бабочек, некоторых вовсе мне не известных, и предполагая, что иные из них, по оригинальности цветов и форм, должны быть замечательными, я занялся отыскиванием червяков, хризалид и ночных бабочек, которые привлекали меня к себе больше, чем дневные. Находя червяка, я всегда срывал растение или ветку того куста или дерева, на котором находил его, для того, чтобы знать, чем кормить. Червяков или гусениц я мог бы набрать много; но сажать их было некуда, ящичек был уже довольно полон, и я пустился отыскивать хризалид и ночных бабочек: я осматривал для этого испод листьев всякой высокой и широколиственной травы, осматривал старые деревья, их дупла и всякие трещины и углубления в коре; наконец, осматривал полусгнившие местами забо-

ры, их щели и продолбленные столбы. Успех превзошел мои ожидания, и я должен был прекратить мои поиски за неимением места, куда класть добычу. Я поспешил на условленное место и нашел там Панаева, который уже давно меня дожидался. По его веселому лицу я угадал, что его ловля была удачна. Панаев ничего не хотел мне рассказать, да и меня не стал слушать, говоря; «Если мы еще промешкаем, то многие бабочки, у которых грудки слишком сильно сжаты, высохнут и раскладывать их будет невозможно». Хотя мне очень хотелось отдохнуть, но причины были так важны и убедительны, что я сейчас согласился, и мы отправились домой, то есть прямо к Панаеву, на Черное Озеро, чтобы немедленно воспользоваться плодами нашей ловли и, может быть, с первого раза затмить наших соперников. Эта мысль подкрепила наши силы, и мы шли бодро, рассказывая друг другу свои подвиги, удачи и неудачи и закусывая все это на ходу оставшимся у нас хлебом. Боже мой, как весело было наше возвращение! Братья Панаева, двое старших и двое младших (старшие были также студенты), с нетер-

пением нас ожидали. Они все принимали живое участие в собирании бабочек. Напоив нас квасом, потому что мы умирали от жажды, посадили нас сейчас за работу. Панаев должен был раскладывать самых лучших бабочек или таких, каких у нас еще не было, а мне предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкновенные и оборотные: оборотными у нас назывались те, которые раскладывались и сушились обороченные вверх исподом своих крыльев. В полных учебных собраниях всегда так делалось, по словам Фукса, но у нас это было исключение для тех бабочек, у которых испод довольно красив; есть такие, у которых нижняя сторона даже лучше верхней. [13]

При разборе наловленных бабочек оказалось, что мы оба с Панаевым, особенно я, по моей торопливости и горячности, не всегда в надлежащей мере сдавливали им грудки: некоторые совершенно отдохнули, вероятно бились и, по тесноте помещения, потерлись, то есть сбили пыль с своих крылушек; по счастью, лучшие бабочки сохранились хорошо. Собрание наше увеличилось двадцатью но-

выми экземплярами, из которых половина была тогда же определена нами по Блуменбаху, выученному почти наизусть; остальных же мы никак отыскать не могли, потому что Блуменбах очень краток в своих описаниях и неточен, да к тому же многих родов бабочек в нем вовсе не находится. Например, у него ни слова не сказано о маленьких голубых и оранжево-золотистых бабочках, блестящих, совершенно как эмаль, серебристым и золотистым блеском. Бабочки эти положительно дневные и появляются иногда во множестве. Точно такую голубую бабочку я видел один раз большую, но, к сожалению, поймать ее не мог.

Вот те бабочки, которых можно было определить с достоверностью. Дневные: Капустная бабочка (*Brassicae*), [14] с черными кончиками и такими же двумя черными пятнушками; испод крыльев желтоватый; ее не надобно смешивать с обыкновенной капустной бабочкой, которая имеет несколько видов. Бабочка Ио или Глазчатая Нимфа, довольно большая, очень красивая и редкая; крылушки у ней угловато-зубчатые, цветом темновишневые; на

каждом крыле находится по большому глазку голубовато-лилового цвета, по которому сбоку идут по пяти маленьких белых пятнушек. Глазки на верхних крыльях имеют неполный желтый ободочек, а глазки на нижних крыльях – темный. Испод крыльев темный. Оторочка крыльев черная. На верхних крыльях, возле глазков, после темного промежутка, ближе к туловищу, находится по желтоватому пятну или короткой полоске. Бабочка Галатея (*Galathea*), имеющая крылушки зубчатые, испещренная по бледнопалевому цвету черными пятнушками. На передних крыльях, с испода, находится по одному, а на нижних по пяти или более бесцветных очков или кружочков. Она также теперь в Казани не попадает. Бабочка С. (*S. Album*); ее поймал Панев. Этой бабочке мы очень обрадовались, потому что, читая ее описание, нам казалось очень странным, даже невероятным, как это у бабочки на крыльях изображена белой краской буква С, да еще и с точкой? Эта бабочка средней величины, крылушки у ней по краям вырезаны уголками или городками; цветом желтовато-красная, с черными клет-

ками и пятнушками, на нижних крыльях, по темному полю, с испода, очень ярко означена белым цветом буква С, и возле нее белая же точка. Бабочка Аглая (Aglaia), как называет ее Блуменбах, называлась у нас, со слов профессора Фукса, *перламутровою*. Крылья у ней кругловатые, желто-бурые, с черными пятнушками, правильно расположенными, как будто в графах; испод же крыльев, по Блуменбаху, «имеет на каждой стороне по 21 пятну серебряному», но в действительности цвет их похож не на серебро, а на перламутр. Их даже нельзя назвать пятнами, а гораздо будет точнее, если сказать, что испод крыльев этой бабочки весь перламутровый, расчерченный темными полосками на клеточки разной величины и фигуры, из коих некоторые кругловаты. Бабочка Проскурняковая (Malvae), названная так потому, что водится на полевых рожках, или проскурняке; она имеет темные крылья с белыми пятнами, зубчатые по краешкам. Сумеречных находилось три бабочки и одна ночная. Первая из них называется Олеандровая сумеречная бабочка (Nerii), и хотя сказано у Блуменбаха, что она водится на оле-

андре, следовательно, не должна жить в России, но ее зеленого цвета угловатые крылья с разными, то бледными, то темными, то желтоватыми, повязками, описанные верно у Блуменбаха, не оставляют сомнения, что это она и что она живет в Казанской губернии. [15]

Молочайная сумеречная бабочка (Euphorbioe) имеет довольно большие бурые крылья; на передних лежит поперек бледно-розовая, а на задних – красная струя или повязка; очень красива. Бабочка Барашек (Filipenduloe), в двух видах. У Блуменбаха описан только первый вид, большей величины, и она названа *не настоящею сумеречною бабочкою*, вероятно, потому, что хотя у нее крылушки длинные и она складывает их, как сумеречная бабочка, в треугольник, но усы толстые, булавообразные[16] и летает она хотя мало, но днем, а в сумерки мне не случилось ее видеть. Она очень красива, и я, завидя ее перелетывающею перелетом изумрудных букашек, не счел бабочкой; когда же она села на траву, то я разглядел ее и пришел в восхищенье! Верхние крылушки у ней точно бархат,

зеленоватые, отливают голубым гляncем, и каждое крыло имеет шесть яркопунцовых точек или пятнушек, а нижние крылушки гораздо меньше верхних, чисто пунцовых с узкой черной каемкой; все тело зеленомато-голубое с отливом. Второй вид Барашка был пойман Панаевым; он несколько поменьше, верхние крылушки коричнево-зеленоватые, с такими же красивыми пятнушками, а нижние бледнорозовые или желтовато-розовые. Этими бабочками мы долго гордились, потому что наши соперники не могли долго достать их. Но я всего более радовался Хмелевой ночной бабочке (Hirauli), которую нашел в дупле старой липы. У нее была совершенно совиная головка, тело красно-желтое, а крылья белые, как снег, с верхней стороны, а с испода темнобурые; вдобавок она была так свежа, как будто сейчас вывелась. По Блуменбаху, это был самец, самка же красновато-желтого цвета.

Разложивши бабочек, досыта налюбовавшись ими и пообедав на скорую руку с другом моим Панаевым (братья его давно уже отобедали, зная наперед, что мы вернемся поздно),

я поспешил домой: мне нужно было разместить моих червячков и куколок; и тех и других нашлось до тридцати штук. Хризалид денных бабочек я старался развесить [17] на стенках или приклеить к верхней крышке ящичка, который нарочно открывался сбоку; но это было очень трудно сделать, потому что клейкая материя, похожая на шелк-сырец, которою червячки приклеивают свой зад к исподу травяных и древесных листьев, а в дуплах и щелях – к дереву, уже высохла, и хотя я снимал хризалид очень бережно, отделяя ножичком приклейку, но, будучи намочена, она уже теряла клейкость, не приставала и не держалась даже и на стенках ящичка, не только на верхней крышке. Впоследствии Панаев придумал приклеивать их вишневым клеем, что вышло очень удобно. Куколок же сумеречных бабочек, закутанных в каком-то пухе или гнезде, и куколок ночных бабочек, которых было у меня всего две и которые лежали в кругловатых яичках, оболочка которых была очень крепка, – я положил в особый ящичек, прикрыл их расщипанной хлопчатой бумагой и защитил от влияния света, по-

тому что ночных хризалид всегда находишь в густой тени.

На другой день поутру явились мы с Панаевым в университет за полчаса до начала лекций, чтобы успеть рассказать о своих приобретениях и чтобы узнать, удачна ли была ловля наших соперников; мы знали, что они также собирались идти за город. Признаться, мы думали похвастаться своей добычей и предполагали, что преимущество останется на нашей стороне. Но только мы вошли в дортуары, как несколько человек студентов, принимавших более живое участие в предприятии Тимьянского и Кайсарова, встретили нас громкими восклицаниями. «Ну, господа, каких бабочек поймал Тимьянский с Кайсаровым, так это чудо! Вам уж эдаких не достать; и какую пропасть наловили всяких редких насекомых! Они и теперь возьтятся с ними наверху, в аудитории Фукса; даже Кавалера Подалириуса достали!»[18]

Мы с Панаевым были очень озадачены и смущены таким известием. Особенно Кавалер как громом поразил нас. Тут узнали мы от своих словоохотливых товарищей, что вчера

Тимьянский и Кайсаров вместе еще с тремя студентами, Поповым, Петровым и Кинтером, уходили на целый день за город к Хижицам и Зилантову монастырю (известное место, верстах в четырех или пяти от Казани), что они брали с собой особый большой ящик, в котором помещались доски для раскладывания бабочек и сушки других насекомых, что всего они набрали штук семьдесят. Мы поспешили наверх и там своими глазами убедились, что торжество было на стороне наших противников. Они поймали по несколько экземпляров всех бабочек, пойманных вчера мною и Паневым, кроме Барашков и Хмелевой ночной бабочки, да сверх того более десяти не известных нам видов, в том числе двух Кардамонных бабочек, бывающих не каждый год в окрестностях Казани; но что всего важнее: они поймали Кавалера Подалириуса. Когда я взглянул на него, во всей красе и величине разложенного на доске, со шпорами на задних крыльях, сердце у меня забилося от удовольствия и зависти! Надобно сказать, что во всем многочисленном царстве бабочек находится, по Блуменбаху, только четыре Кавале-

ра; первый из них называется «Приам, бабочка Кавалер Троянский (так говорит Блуменбах), у коего крылья зубчатые, пушистые, сверху зеленые, с черными полосками, а задние с шестью черными пятнами. Водится в Амбоине. Он, так как и следующая порода, есть самое большое великолепное насекомое». Второй: «Улис, бабочка Кавалер Ахивский, у коего крылья бурые с хвостиками (то есть со шпорами), а верхняя их сторона синяя, блестящая и с зубчиками. Задние крылья имеют по семи глазков. Водится также в Амбоине». Уже из этого краткого и скудного описания можно себе вообразить, что за красивые, прелестные создания эти два Кавалера. Фукс видел их и говорил, что они величиною с летучую мышь и так хороши, что трудно описать.[19]

«Третий Кавалер, Махаон, и четвертый, Подалириус, водятся в Европе» – и одного-то из них удалось поймать нашим соперникам! Не зная тогда, что последние два вида Кавалеров водятся везде в России и что они не слишком редки, мы с Панаевым не могли не завидовать счастью Тимьянского, поймавшего чуд-

ного Подалириуса.

Тимьянский видел наше смущение и с торжествующей улыбкой сказал: «Вот, господа, я вам показываю всех наших бабочек, покажите же и вы нам своих». Панаев отвечал, что экземпляров у нас мало, следовательно показывать нечего, но что, пожалуй, мы привезем завтра или послезавтра, когда бабочки все высохнут, особенно одна, очень толстая, Хмелевая бабочка. «Разве у вас есть Ночная Хмелевая? – спросил Тимьянский с удивлением. – Ведь это редкость!» Я отвечал, что есть, что я нашел ее в дупле и совершенно свежую, то есть не потертую. Заметно было, что Тимьянский в свою очередь позавидовал Хмелевой бабочке; это нас утешило. Когда же мы вышли, то Панаев весело сказал мне: «А видел ли ты, как нечисто, неопрятно разложены у них все бабочки? Ведь они нашим в слуги не годятся!» Хотя я не обращал на это обстоятельство особенного внимания, но тут припомнил, что Панаев совершенно прав, – и мы оба, успокоенные, бодро отправились слушать профессорские лекции.

На другой же день нам удалось умножить

наше собрание еще тремя сумеречными, необыкновенно красивыми, бабочками, которых и воткнуть иначе было нельзя, как на самые тоненькие кружевные булавочки, по миниатюрности их тела. При раскладке их Панаев вполне выказал свою ловкость и умение. Я поймал их в оврагах около моей квартиры, куда заглянул случайно. Солнце было еще высоко, а в оврагах была уже тень, и сумеречные бабочки начали летать.

Через два дня повезли мы наш ящик, с тридцатью пятью экземплярами бабочек, в университет, на показ своим товарищам. В одну минуту все сошлись смотреть их, и, конечно, всякий видел превосходство нашего собрания относительно целостности, свежести и правильности раскладки наших бабочек; особенно нельзя было не удивляться маленьким прелестным ночным бабочкам, казавшимся совершенно живыми, потому что крошечных булавочек, на которых они торчали, совсем было незаметно. К этому надо прибавить, что ящик, внутренняя его оклейка, стекло, петли и замок – все было прекрасно благодаря попечениям Панаева. Разумеется, наружность бро-

силась в глаза всем; но Тимьянский очень хорошо видел, понимал и ценил, так сказать, внутреннее достоинство нашего собрания. Не без досады и, может быть, зависти, он холодно хвалил наших бабочек, особенно Ночную Хмелевую и Барашков, но сделал замечание, что бабочки слишком вычурно разложены, как-то напоказ, и что им дано неестественное положение. Если в последнем обвинении была своя доля правды, то это не наша вина: этот способ был принят всеми натуралистами. Я поспешил сказать о том в наше оправдание и прибавил в оправдание натуралистов, что дневные бабочки часто принимают точно такое положение, в каком раскладываются; что, конечно, сумеречные и особенно ночные бабочки, когда сидят, не расширяют своих крыльев, а складывают их повислым треугольником, так что нижних крыльев под верхними не видно; но если их так и высушивать, то они потеряют половину своей красоты, потому, что нижние крылья бывают часто красивее верхних, и, что, глядя на такой экземпляр, не получить настоящего понятия о бабочке. «Да ты разве не так же раскладыва-

ешь? – сказал Панаев. – Верхние крылушки у тебя так же приподняты, а только нижние висят. Это разве естественное положение?» Но Тимьянский не соглашался и доказывал, что его способ раскладывания гораздо натуральнее; многие приняли его сторону, многие нашу, из этого вышел спор, и мы расстались с своими соперниками хотя без явного неудовольствия, но с холодностью. Впоследствии они прозвали нас «богачами-щеголями» и называли так даже в глаза, что, признаюсь, было мне очень досадно, особенно потому, что было совершенно несправедливо; ящик наш, пожалуй, можно было назвать щеголеватым, но нисколько не богатым; все достоинство заключалось в чистоте отделки, до чего Панаев был большой охотник и за чем сам заботливо смотрел. Один из студентов, принадлежавший к противной партии, Михайло Пестяков, прозвал наше собрание бабочек «дворянским». Это прозвище также было в ходу потому что, как нарочно, все наши противники были разночинцы, от которых мы с Панаевым отличались в гимназии красными воротниками; это было очень прискорбно, потому

что прежде у нас никогда не было слышно ни одного слова и даже намека на различие словесий. Благодаря бога все эти несколько неприятные отношения впоследствии исчезли, и мы уже соперничали дружески в общем деле, не завидуя друг другу. Кроме бабочек, которых у Тимьянского было более пятидесяти, он набрал уже около сотни разных насекомых: некоторые блистали яркими радужными красками, особенно из породы жуков, божьих коровок, шпанских мух и также из породы коромыслов; а некоторые отличались особенностью и странностью своего наружного вида; но все они мне не нравились и даже были противны. Бабочки, бабочки! – вот к чему я привязывался с каждым днем более.

При первой возможности мы с Панаевым отправлялись за город; посетили сад Нееловский, Госпитальный и даже сад Чемесова, который был, впрочем, не за городом, а на краю города; бабочек в последнем мы нашли мало, но зато долго любовались на сотни кроликов, которым был отведен во владение довольно высокий пригорок или холм (не умею сказать, натуральный или искусственный), обне-

сенный кругом крепким забором. Кроликов развелось там невероятное множество; вся гора была изрыта их норами; они бегали целыми стаями и очень забавно играли между собой; но при первом шуме или стуке, который мы от времени до времени нарочно производили, эти трусливые зверки пугались и прятались в свои норы.[20]

Мы ходили с Панаевым также на пасеку, или посеку, и находящиеся по обеим ее сторонам гористые места, или, лучше сказать, глубокие овраги, обраставшие тогда молодым леском, за которыми впоследствии утвердилось название Казанской Швейцарии, данное нами, то есть казанскими студентами. До сих пор эти места служат любимым гуляньем для жителей Казани. Я слышал даже, что это место разделяется на две половины: одна называется Немецкою, другая Русскою Швейцариею; последняя ближе к городу. Поиски наши были более или менее удачны, и мы, мало-помалу, приобрели всех тех бабочек, которые находились в собрании Тимьянского, и которых нам недоставало, кроме, однако, Кавалера Подалириуса. Мы даже не имели надежды

достать его, потому что появление Кавалера в окрестностях Казани считалось тогда редкостью. Кавалер Подалириус торчал, как заноза, в нашем сердце! Не скоро достали мы и Кардамонную бабочку, которая, не будучи особенно ярка, пестра и красива, как-то очень мила. Ее кругловатые, молочной белизны крылушки покрыты каким-то особенным, нежным пухом; на каждом верхнем углу верхнего крыла у ней находится по одному пятну яркого оранжевого цвета, а испод нижних крыльев – зеленовато-пестрый. Но самыми красивыми бабочками можно было назвать, во-первых, бабочку Ирису; крылья у ней несколько зубчатые, блестящего темнубурого цвета, с ярким синим яхонтовым отливом; верхние до половины перерезаны белою повязкою, а на нижних у верхнего края находится по белому очку; особенно замечательно, что испод ее крыльев есть совершенный отпечаток лицевой стороны, только несколько бледнее. Еще красивее бабочка Аталанта, или Адмирал (*Atalanta*). У ней крылья также зубчатые, черные с лоском, испещренные белыми пятнушками; во всю длину верхних

крыльев лежит повязка яркопурпурового цвета, а на нижних крылушках такая же повязка, только с черными пятнушками, огибает их боковые края. Надобно признаться, что у нас и у Тимьянского было много бабочек безыменных, которых нельзя было определить по Блуменбаху и которых профессор Фукс не умел назвать по-русски.

Питомники мои были давно уже наполнены червяками или гусеницами, так что и сажать более было некуда. Многие превращались в куколок, а многие умирали, вероятно от недостатка свежего воздуха или пищи. Трудно было доставать именно то растение, которым они предпочтительно питались; по большей части мы не знали, какое это растение, потому что не знали названия гусеницы. Я обыкновенно набирал всяких трав и старался только чаще их переменять. Каждый день, по нескольку раз, наблюдал я за моими питомцами, и это доставляло мне большое наслаждение. Те червяки, которые попадались мне в периоде близкого превращения в куколок, почти никогда у меня не умирали; принадлежавшие к породам бабочек дневных, все-

гда имевшие гладкую кожу, приклепляли свой зад выпускаемой изо рта клейкой материей к стене или крышке ящика и казались умершими, что сначала меня очень огорчало; но по большей части в продолжение суток спадала с них сухая, съезжившаяся кожица гусеницы, и висела уже хризалида с рожками, с очертанием будущих крылушек и с шипообразною грудкою и брюшком; многие из них были золотистого цвета. Можно себе представить мою радость, когда, вместо мнимо умеревшего жалкого червяка, вдруг находил я милостивую куколку. Гусеницы сумеречных бабочек, более или менее волосистые, где-нибудь в верхнем уголку ящика, или под листом растения, положенного для их пищи, заматывали себя вокруг тонкими нитями той же клейкой материи, с примесью волосков, покрывавших туловище, — нитями, иногда пушистыми, как хлопчатая бумага, иногда покрытыми сверху белым, несколько блестящим лаком, что давало им вид тонкой и прозрачной, но некрепкой пелены. Гусеницы ночных бабочек, почти всегда очень мохнатые, кроме немногих исключений, устраива-

ли себе скорлупообразные яички, или коконы, ложились в них, закрывались наглухо и превращались в куколок; у обеих последних пород свалившаяся сухая кожица червяка всегда лежала вместе с хризалидой внутри гнезда. Сумеречные и ночные куколки имели гладкую овальную наружность без всяких угловатостей и выпуклостей, но также с очертанием головы, крыльев, усиков, ножек и брюшных колец. Цветом они бывают всегда темные, а некоторые породы ночных совершенно черные. Червяки молодые, которым должно было прожить до превращения в хризалиду определенный, весьма различный срок времени, если не погибали от голода и духоты, то раза два или три переменяли на себе кожу и всякий раз перед такой переменной впадали в сон или обморочное состояние, не прикрепляя, однако, своего тела ни к какому предмету. Вероятно, сначала я выкидывал некоторых, считая их уже умершими. Обновленный червяк, казавшийся сначала слабым или больным, выходил всегда цветнее, пушистее прежнего, с невероятною жадностью накидывался на пищу и скоро поправлялся. Из

числа тех хризалид, которые превращались из червяков не у меня, а на воле, выводились иногда какие-то летучие тараканы, отвратительные по своей наружности. Из этого должно заключить, что куколки их похожи на бабочкины, потому что я не мог различить их. [21]

Выводились также иногда бабочки-уродцы: с одним маленьким крылом, или совсем без одного крыла, или с таким, которое не расправлялось и оставалось навсегда свернутым в трубочку. Фукс не мог удовлетворительно объяснить мне причины таких явлений. Я предполагаю, что хризалиды бабочек-уродцев были как-нибудь помяты или зашибены и что оттого крылушко на больной стороне не достигало полного своего развития. Весьма часто случалось, что пойманная бабочка, по большей части в ту минуту, когда ее раскладывали почти умирающую, выпускала из себя множество яичек, из которых впоследствии образовывались крошечные червячки; это и не удивительно, потому что бабочка могла быть прежде оплодотворена; но вот что достойно замечания, что выведша-

яся у меня ночная свечная бабочка, через несколько часов разложенная, также при этой операции выпустила из себя яички, из которых впоследствии вылупились червячки. [22]

Недавно открыто подобное изумительное явление не только в пчелиных матках, но и в рабочих пчелах, [23] доказывающее глубокую экономическую предусмотрительность природы.

Когда наше собрание бабочек ни в чем уже не уступало собранию Кайсарова и Тимьянского (кроме, однако, Кавалера), а, напротив, в свежести красок и в изяществе раскладки имело большое преимущество, повезли мы с Панаевым уже два ящика бабочек на показ Фуксу. Профессор рассыпался в похвалах нашему искусству и особенно удивлялся маленьким сумеречным бабочкам, которые были так же хорошо разложены, как и большие. Он очень жалел, что мы не собирали и других насекомых.

Между тем лето вступало в права свои. Прошла весна. Соловей допел свои последние песни, да и другие певчие птички почти все

перестали петь. Только варакушка еще передразнивала и перевирила голоса и крики всяких птиц, да и та скоро должна была умолкнуть. Одни жаворонки, висая где-то в небе, невидимые для глаз человеческих, рассыпали с высоты свои мелодические трели, оживляя сонную тишину знойного, молчаливого лета. Да, прошла голосистая весна, пора беззаботного веселья, песен, любви! Прошли «летние повороты», то есть 12 июня; поворотило солнышко на зиму, а лето на жары, как говорит русский народ; наступила и для птиц пора деловая, пора неусыпных забот, беспрестанных опасений, инстинктивного самозабвения, самопожертвования, пора родительской любви. Вывелись дети у певчих птичек, надобно их кормить, потом учить летать и ежеминутно беречь от опасных врагов, от хищных птиц и зверей. Песен уже нет, а есть крик; это не песня, а речь: отец и мать беспрестанно окликают, зовут, манят своих глупых детенышей, которые отвечают им жалобным, однообразным писком, разевая голодные рты. Такая перемена, совершившаяся в какие-нибудь две недели, в продолжение которых я не выходил

за город, сильно поразила и даже опечалила меня, когда я, во второй половине июня, вместе с неразлучным моим спутником Панаевым, рано утром вошел в тенистый Нееловский сад. – В прежние годы я не замечал такой перемены.

На сей раз добыча наша была незначительна. Вообще это посещение Нееловского сада осталось памятно для нас неудачами и обманутыми надеждами. Панаев видел Кавалера, но не мог поймать, а я совершенно испортил превосходную розовую ночную бабочку, названия которой не знаю, но которую очень помню особенно потому, что впоследствии имел ее в руках. Нееловская розовая бабочка была замечательной величины, втрое больше розовой свечной, тоже ночной бабочки, которая очень обыкновенна и часто налетает на горящую свечку и обжигает свои крылушки; а испорченная мною была редкая бабочка; яркого алого цвета, бархатная пыль покрывала все ее крылья, головку и туловище, но яркость эта уменьшалась тем, что вся бабочка была исчерчена тоненькими желтыми жилками. Я взял ее очень бережно, подавил

грудку и как-то уронил в траву; отыскивая, я наступил на нее ногой – и уничтожил прелестное создание. Смешно вспомнить, как я был огорчен этой потерей и как долго я не мог утешиться. В 1810 году, гуляя в Петербурге, в Летнем саду, я увидел точно такую бабочку, сидящую под широким листом векового клена. По старой охоте, я поймал, разложил, высушил и подарил одному любителю натуральной истории.

Время лечит всякие язвы, и мы с Панаевым примирились с мыслию, что у нас нет Кавалера, а может быть, и не будет. Тимьянский также примирился с общим мнением, что наши бабочки лучше, и утешился тем, что он собирает всех насекомых, а мы только часть их, что целое гораздо важнее части.

У нас в университете шли экзамены, которые не имели и не могли иметь формы и условий настоящих университетских экзаменов. Это были семейные, дружеские испытания, или, лучше сказать, это было обозрение всего того, что профессоры успели прочесть, а студенты усвоить себе из выслушанного ими. Разделения предметов на факультеты не бы-

ло, а следовательно, не было ни курсов, ни переходов на них. Конечно, это было детство возникающего университета, но тем не менее тут было много добрых, благотворных начал, прочно подвигавших на пути образованности искренно желавших учиться; немного было приобретено сведений научных, но зато они вошли в плоть и кровь учащих, вполне были усвоены ими и способствовали самобытному развитию молодых умственных сил. Предметы преподавания до того были перепутаны, и совет испытателей смотрел на это так не строго, что, например, адъюнкт-профессор И. И. Запольский, читавший опытную физику (по Бриссону), показывал на экзамене наши сочинения, и заставил читать вслух, о предметах философских, а иногда чисто литературных, и это никому не казалось странным. И. И. Запольский любил пофилософствовать, он был последователь и поклонник Канта; на каждой лекции о физике он как-нибудь припутывал «критику чистого разума». Один раз разговорился он о действующей и конечной причине и потом предложил нам, чтобы каждый из нас, кто понял его слова и кому

предмет нравится, написал о нем хоть что-нибудь и показал ему. Написали человек десять, в том числе и я; и каково же было мое удивление, когда в числе студенческих сочинений, читанных на экзамене, попались и мои три странички о действующей и конечной причине! Вероятно, это было самое ребячье и поверхностное понимание предмета. Адъюнкт русского красноречия Л. С. Левицкий, читавший по программе философию и логику, уже давно не занимавшийся своими лекциями и почти переставший ездить в университет, притащился, однако, кое-как на экзамен и перепугал нас своим болезненным видом. Вместо русской словесности он произвел экзамен в логике, которую прежде проходил с нами по рукописной тетрадке, в самом сокращенном объеме; разумеется, он предупредил нас, чтобы мы приготовились к экзамену из логики. Фукс торжествовал с своей натуральной историей, и наши бабочки, и гусеницы, и другие насекомые – все пошло в дело. Тимьянский отличился обширностью своих знаний и латинским языком, но и мне досталось рассказать о моих наблюдениях над вос-

питанием червей, превращением их в хризалиды и бабочки. Все меня похвалили, даже и те профессоры, которые не знали ни одного русского слова, а я говорил, разумеется, по-русски. Лучшим экзаменом, без сомнения, был математический, у Г. И. Карташевского, но я не повинен был в этом блеске и даже не являлся на экзамен. Этот предмет у нас шел блистательно.

По случаю экзаменов заботы о собирании бабочек были оставлены, да к тому же случилось и другое обстоятельство: я сильно поссорился с старшими братьями Панаева, с которыми прежде всегда был очень дружен; один из них, именно старший, так меня обидел каким-то грубым и дерзким словом, что я вспылил и в горячности дал торжественное обещание не быть у них в доме до тех пор, покуда виноватый предо мною товарищ не попросит у меня прощения. Панаев (Николай) и не думал просить у меня прощения, и я целую неделю к ним не ездил. Друг мой, Александр Панаев, бывал у меня почти каждый день и своими известиями о старших братьях только усиливал мое оскорбление. Мне было осо-

бенно досадно на Ивана Панаева, нашего первого лирика; он был прекрасный товарищ, добрый и правдивый, очень меня любил, в семье своей он считался главным – и он не заступился за меня, не заставил брата извиниться передо мною, а еще его оправдывал. Но великие события именно совершаются тогда, когда всего менее можно ожидать их, и мгновенно разрубают крепко затянутые узлы, которые без того не скоро, а может быть и никогда, не были бы распутаны.

В самых последних числах июня, когда наши экзамены приходили к окончанию, воротился я из университета на свою квартиру и по какому-то странному побуждению, еще не пообедав, взял рампетку и, несмотря на палящий зной, пошел в овраги, находившиеся неподалеку от моего флигеля. Мне захотелось обойти их перед обедом; почему? для чего? – и теперь не понимаю. Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жару и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера... Я так

был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника... Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки – и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове – и вдруг вижу, в самом сгибе флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудь. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как иступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожки, дрожки!» Добрый мой Евсеич, испуганный моим голосом и странным видом, побежал ко мне навстречу. Но я поспешил объяснить ему, в чем состояло дело, и просил, умолял, чтобы он велел поскорее заложить мне лошадь. Евсеич, успокоенный, покачал головой, улыбнулся, но пошел исполнить мое приказание. Я во-

шел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а остальное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Евсеич вернулся со словами: «Сейчас заложат» – и с прежней улыбкой. Тут-то высказал я свою радость моему доброму дядьке, обняв и расцеловав его предварительно. Хотя Евсеич гнал меня вдоль и поперек, как говорится, но безумный мой восторг смутил его. Все мои уверения и доказательства в важности приобретения Кавалера, в необычности события, что он залетел в середину большого города, что я пошел без всякой причины гулять по жару в овраги, – дядька мой выслушал с совершенным равнодушием. Он уже не улыбался, а все качал головой, и, наконец, сказал: «Нет, соколик, больно молодо, больно зелено, – надо долго еще учиться; ну куда тебе на

службу!» Стук подкатившихся дрожек пере-
рвал поучительную речь Евсеича, и через ми-
нуту я уже скакал на Черное Озеро, прямо к
Панаеву. Я живо представил себе его удивле-
ние и радость, особенно потому, что мы с пол-
часа как расстались. Долгим днем показалась
мне четверть часа езды до Панаева. Вот он,
наконец, белый, засаленный, хорошо знако-
мый дом. Взбегаю на крыльцо, на лестницу,
отворяю дверь в залу и вижу друга моего
Александра Панаева, выбегающего из гости-
ной с окровавленным лицом, зажавшего
один глаз рукою... «Что с тобой?» – закричал
я. «Я пропал, – с отчаянием отвечал Панаев, –
брат Петя нечаянно попал мне в самый зра-
чок глаза фарфоровым верешком[24]. Если я
окривею – я застрелюсь. Я бегу к колодцу, что-
бы обмыть мой глаз холодной водой». Мы по-
бежали вместе. Панаев так боялся увериться,
что глаз у него испорчен, что красота его по-
гибла (он действительно был красавец), что
не вдруг решился отнять руку и промыть ра-
ненный глаз; я упросил его это сделать, и к ве-
ликой моей и еще большей его радости я уви-
дел, что рассечена только нижняя века и слег-

ка оцарапан глазной белок. В самую ту минуту, как я обнимал и поздравлял моего друга с благополучным окончанием такой беды, прибежали его испуганные братья, кроме виноватого; я поспешил их успокоить, что никакой важности нет, да они и сами в том сейчас убедились. Радость была общая; мы все обнялись дружески и послали за Петей, который с испугу и с горя залез в какой-то чулан. Вдруг Александр Панаев меня спросил: «Как это случилось, мой друг, что ты приехал в самую ту минуту, когда разразилась надо мной эта страшная гроза? Верно, сердце тебе сказало и ты, забыв все, прискакал на помощь к своему отчаянному другу?» Тут только я вспомнил, что я в ссоре с братьями Панаева, что я перестал к ним ездить и что я поймал Кавалера. «Нет, мой друг, – отвечал я, – на этот раз сердце мне ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть все неудовольствия: с полчаса как я поймал у себя в овраге чудеснейшего Кавалера. Вот он...» И я побежал в залу, где оставил свой картонный ящичек на столе. Все Панаевы с радостными восклицаниями последова-

ли за мной, и когда я, открывши ящичек, показал им лежащего в том же положении в самом деле необыкновенно большого и великолепного Подалириуса, раздался новый залп радостных восклицаний. Само собою разумеется, что я не один раз рассказал, как совершилось это счастливое событие. Друг мой Александр, примочив глаз розовой водой и завязав его весьма щеголевато батистовым платочком, сейчас сел раскладывать Кавалера, который оказался совершенно целым и нигде не потертым. «Ну, теперь наше собрание бабочек несравненно выше Тимьянского», — сказал он с торжествующей улыбкой. Он аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы все пятеро, тесно окружив его, не сводя глаз и не смея свободно дышать, следили за каждым движением его искусных рук. Напрасно Панаев кричал, что мы ему мешаем, что ему от нас тесно, жарко, чтоб мы отошли прочь, — никто не трогался с места. Наконец, раскладка совершилась благополучно, и я вспомнил, что еще не обедал. Панаевы уже успели пообедать. Не было и тени неудобольствия между нами, они упрашивали ме-

ня не ездить домой, желая угостить оставшимися блюдами, но я не мог исполнить их желания: я не видел сегодня еще своих червячков и хризалид! Может быть, там что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнил также, что для завтрашнего экзамена мне надобно прочесть одну тетрадку. Мне самому не хотелось расстаться в эту минуту с Панаевыми и (надобно признаться) с пойманным мною Кавалером. Я примирил все обстоятельства тем, что обещал в полчаса осмотреть своих червячков и хризалид, пообедать и, захватив тетрадку с собою, воротиться к ним. Не один раз дружеские голоса товарищей заставляли меня повторить обещание, что через час я буду с ними. Как весело сел я на дрожки и поехал в свой уединенный флигелек!

Пословица говорит: «Пришла беда – отворяй ворота», – что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой круп-

ной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (*ligustri*) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузьяке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блуменбаха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней – верхние темносерого цвета, с белыми пятнами или матово-белыми с темными пятнами: я потому говорю *или*, что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья – красные, как будто кровавые, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, – это довольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как

было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее noctuою. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтрунивал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.

На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже

озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливцы! – говорил он нам. – Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойдико достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»

Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в де-

ло. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адъюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисаиловича Ибрагимова, воспоминание о котором всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! – говорил он. – Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду, как много ему обязан.

Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Симбирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство, а Панаевым – в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жила их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса,

бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось,[25] да и просто некуда было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение – также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадьёю. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем

флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше соперничество не мешало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно, вызвался сам присмотреть за моими питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он

имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчас же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении — это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими

питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, были у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраню... Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, – это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам

и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, чтобы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, — так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, души-

стое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из дубликатов: он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопияли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно... стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить и ночевать в поле; с ними были и удочки и даже ружье, – мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.

Воротясь в свою квартиру, я нашел также

все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце... Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая ждала меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым пахнуло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик тряхнул вожжами, свистнул, и тройка полетела.

Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во

весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение... Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает? – говорил он, улыбаясь. – А ведь лошадки-то, поглядеть, – дрянь! Да ты не боишься ли?» – продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужасно стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русской песнею. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною дела-

ется. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич подумал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней

зарю. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слышал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро несло небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела, чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? – сказал Евсеич. – Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». – Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглуши-

тельные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти непрерывною, то и креститься перестали... Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы и ничтожность, незащитность человеческой природы, так явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо оградного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей

промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь и град были гораздо сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весной; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья — солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразите-

лен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, – говорил Евсеич, – а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины; как нарочно, хозяева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! – говорил он, – кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублей, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды; в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному

самобеднейшему семейству.

На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», – прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараюсь внимательно взглядеться и разговориться

с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повывродился; никто не брил головы, но и длинных волос никто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли

эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?

Далее по дороге не было и слуху о дожде и граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слышал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не

растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка была не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно не ожидаемое мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равно-

душно смотреть и на высушенных бабочек.

Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытной жизнью. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чистоту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услышал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студентских спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собраний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре

моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.

Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить – не было никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковым! Там была река, огромный пруд, купанье, ужение и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по нескольку штук; я же только один раз убил глухого тете-

ревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов: молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых – я и теперь не знаю, потому что он в лёт стрелять не умел. Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастью, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выво-

даться было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о которых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже среди дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах деревьев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель[26], или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров;

трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом, который на голове, спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки.[27]

Когда я увидел ее в первый раз, тихо вью-

щуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (*Huperanthus*). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темносизых, вырезных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя – признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние

крылья у нее светлобурые, а задние – желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища.[28]

Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, – и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светлобурая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял верх длиннова-

тые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки. Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Кавалер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокровато, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светлокорицевые с точками на задних

крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать.[29]

Я подошел, однако, из любопытства, потому что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была Кавалер, и не Подалириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у Подалириуса, да и концы шпор были совершенно другие. Итак, это Кавалер Махаон!.. Необычайность такого счастья отуманила меня... Как бы для полного моего удостоверения, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою

драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтоб она взлетела и чтоб я мог завернуть ее в мешочке рампетки; но она не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружающие ее белые бабочки; я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами Кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли, следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей.

Здесь я считаю кстати объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих Кавалеров, то есть Подалириуса и Махаона.

Имея в руках Блуменбаха, Озерецковского [30] и Раффа (двое последних тогда были из-

вестны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории), имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисованных Кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку: Махаона мы называли Подалириусом, а Подалириуса – Махаоном. Правда, что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга; но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подалириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Блуменбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые Кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек; крылья имеет не круглые, а довольно длинные и остроконечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками; передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой кайме, лежат отдельно, в виде оторочки, жел-

тые полукружочки, числом восемь; к туловищу, в корнях крыльев, примыкают черные углы в полпальца шириною; везде по желтому полю рассыпаны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям вырезаны городками или фестончиками, отороченными черною каймою, с шестью желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях; непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с шестью, но уже синими кружками, не ясно отделяющимися; седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху; после второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, на которые они очень похожи. Подалириус же — цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами; на верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой; на нижних крыльях у Подалириуса ле-

жат кровавые небольшие ободочки с синей середкой; синюю же каймою оторочены нижние крылья с наружного края; шпоры имеет такие же длинные и черные, с желтыми оконечностями. Вообще Подалириус в объеме уже Махаона. Для меня он даже красивее.

Ночная бабочка Павлин, редкой величины и красоты, залетела ко мне сама. Недели за две до моего отъезда были у нас гости. Часов в девять вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай; моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окна были открыты; четыре свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь: их водилось там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горницы. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, покуда мы выгоним незванную гостью. Но, взглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка, бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять

двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою, умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудеснейшая бабочка! позвольте мне ее поймать...» – все расхохотались, и мать, зная мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, *огромнейшую и чудеснейшую*, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стул, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи (остальные две мы потушили), вытянув руки вверх и стоя на цыпочках, светила мне и приманивала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом: бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка Большой Павлин, немного по-

меньше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и как я был счастлив тогда! Об огромном Павлине, как о великой редкости, наслышался я от Фукса; без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описание ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе не верно. Вот его описание: «Ночная бабочка Павлин (*Pavonia*) с гребенчатыми усиками, безъязычная, у которой крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми (?) повязками, а на них несколько прозрачный глазок». Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего Большого Павлина[31] и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с маленькими, чуть заметными вырезками. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев; они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками, или струями, с оттенками и переживаниями такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья бы-

ли также хороши, но какого-то мутного, пепельного цвета, на всех четырех крыльях находилось по большому кружку, или глазку, блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа Павлином. Исполод крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледнопунцового цвета, которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам: если Павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру;[32] если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль с своих крыльев. Итак, я решился разложить ее сейчас, зажег несколько свеч и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного Павлина.

Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белою бумагою, с мягким

липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редкими экземплярами бабочек; но теперь предстоял вопрос: как его довести до Казани на почтовых, в ямской кибитке? Булавки могут выскочить от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящик в руках; езды было всего сутки, можно ночку и не поспать.

Тридцатого августа утром я уже скакал по казанской дороге, именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь, и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евсеича, который, вызвавшись поддержать моих бабочек, уговорил меня «соснуть часок-другой». К обеду приехал я благополучно в Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся

в библиотеке, и хризалиды и гусеницы находились в совершенном порядке; во все это время неусыпно смотрел за ними Кайсаров, — я не знал, как и благодарить его! Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли; многие из прежних хризалид превратились в бабочек; замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на вакацию, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением

ожидал я возвращения друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему? И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я беспрестанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам несколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец, 15 августа, вечером, прислали сказать мне из дому Панаевых, что «молодые господа сейчас приехали», – и через несколько минут я был уже на Черном Озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною; но я завязал его платком, чтоб показать вдруг с большим эффектом тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну, что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что «привез кое-что, чем он будет доволен». Панаев отвечал в таком же роде с самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, «конечно, ничего подобного нет». – «Ну, так показывайте», – сказал я. «Нет, покажи наперед ты!» – возразил

Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец, я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены, уничтожены; Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалириуса, и Павлина никто не ожидал. «Ну, – сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, – после этого наших нечего и показывать! Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня!» – прибавил он. Но это было несправедливо. Я стал лучше прежнего раскладывать – это правда; до Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец, Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны; но, конечно, таких редких бабочек, как Махаон и Павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие: дневная бабочка, которую мы признали за Полихлора (*Polichloros*), по Блуменбаху,

значительной величины; она имела крылья угловатые, желто-красные, с черными пятнами; на верхних крыльях сверху находились четыре черные крупные точки, идущие от конца крылушка к туловищу. Она имела некоторое сходство с крапивной бабочкой. Другая дневная бабочка, которую с грехом пополам мы назвали Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые, с темносиними блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но «с исподи на крыльях серебряных поперек черт», как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это могло происходить от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек: одна из них, Антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, *хорошего*, то есть яркого темнокрасного цвета; на передних или верхних ее крыльях, у заднего угла, находилось по белой лунке или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за Смородинную Геометру (*Grossulariata*), имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнуш-

ками; на передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Панаева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы, по Блуменбаху, за Сфинкса (*Celerio*); у ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольною чертою, или, лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными; одна половина черты была черная, а другая белая, задние крылушки к корню, или туловищу, были красные, каждое с шестью точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде; но там, где его нет, вероятно она водится по другим кустарникам или растениям.[33]

Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (*Stellatarum*), по необыкновенно бородастой груди, мохнатому брюшку и задним красновато-желтым крылушкам; верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха: они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных, ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень кра-

сивых, не часто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать не могли.

Когда мы соединили наши четыре ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили номера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались беспрекословно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали.

Между тем начались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решились с ним, по старой привычке и не остывшей еще охоте, выйти за город, чтобы посмотреть, не попадется ли нам какая-нибудь новая, неизвестная порода бабочек. Но не только не попало нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому

что наступил уже конец августа и погода очень похолодела. С этого дня прекратились наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал, под названием: «Журнал наших занятий». Я же, сверх того, сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и беднее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева.

В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью: через несколько месяцев, в начале 1807 года, я дол-

жен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге.

В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтоб принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Другой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петр Семеныч Балясников. Он был отличный студент по математике; пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то же время человек с железной волей – он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рано-рано его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной ар-

тиллерии; он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, по-видимому, не имели и, по своему слабому здоровью и мирному настроению духа, не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературою, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант, тоже худощавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков – пошли в военную службу! Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению.

Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще восьмилетним мальчиком; но теперь, когда я мог встретить весну с ру-

жьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что дай только бог терпенья дожить до него и сил – пережить его. При таком настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры с большим искусством и точностью; а как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории – ничего не знаю.

Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть – иначе я не могу назвать ее – ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции... но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю

жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, блаженных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обставлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, – благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой.

Москва, Петровский парк,
1858 год, 21 июля

Примечания

«Детское чтение». – «Детское чтение для сердца и разума» – первый детский журнал в России, выходил в 1785–1789 гг. в качестве еженедельного приложения к «Московским ведомостям», издававшимся Н. И. Новиковым.

[^^^]

2

Блуменбах Иоганн Фридрих (1752–1840) – немецкий естествоиспытатель.

[^^^]

3

Тимьянский Василий Ильич (род. в 1791 г.) – впоследствии профессор естественной истории и ботаники Казанского университета.

[^^^]

4

Татарские и суконные слободы существуют и поныне, но крепостные крестьяне уже откупались и записались в мещане.

[^^^]

5

Теперь это делается иначе: дощечки прорезываются насквозь, и вместо дна вставляется пробка.

[^^^]

6

Хорошо, очень хорошо, превосходно (франц.).

[^^^]

Замечательно (лат.).

[^^^]

Водополье озера Кабана, по особенному положению его местности, очень замечательно. Кабан, в который стекается множество весенних ручьев со всего города и соседних окрестностей, очень рано оттаивает от берегов и спускает излишнюю воду по Булаку в реку Казанку, а потом, когда, вышед из берегов, разливается Казанка и становится выше его уровня, Булак принимает обратно мутные и быстрые волны этой реки; Волга же, разливаясь всегда позднее всех меньших рек, снова заставляя переполненные воды Кабана, опять по Булаку, устремляться в Казанку. // Этим любопытным наблюдением и вообще сведениями о настоящем состоянии Казани, а также новейшими сведениями по натуральной истории обязан я молодому ученому, недавно оставившему Казанский университет, Н. П. Вагнеру.

[^^^]

Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже в больших размерах, как мне сказывали; вся же местность торга на водах и берегах Булака получила общее название «Биржи».

[^^^]

Арское поле теперь почти не существует: оно все застроено улицами и домами; даже бывшее на нем стародавнее трехдневное гулянье, начинавшееся с троицына дня и продолжавшееся всегда дней пять, перенесено на другое место.

[^^^]

Сады Болховской и рядом с ним Нееловский существуют и теперь, но прежних их имен никто уже не знает: они составляют сад Родионовского института благородных девиц.

[^^^]

Все описания бабочек составлены мною или с натуры, или с рисунков, или по Блуменбаху, поправленному и дополненному нами тогда же. В описаниях моих может встретиться разница с описаниями натуралистов. Она происходит оттого, что многие дневные бабочки имеют два вылета: весенний и осенний, чего мы тогда не знали. Краски весенних бабочек бледнее (ибо они перезимовали), а осенних гораздо ярче. Вообще я не поправляю наших тогдашних ошибочных понятий и взглядов на науку. В пятьдесят лет она ушла далеко.

[^^^]

Теперь это делается иначе, как я узнал от Н. П. В. (*Н. П. В.* – Здесь и в последующих случаях, вероятно, Николай Петрович *Вагнер* (1829–1901) – ученый-зоолог, профессор Казанского и Петербургского университетов, автор известных «Повестей, сказок и рассказов Кота-Мурлыки».): ящик имеет стеклянное дно и, обернув его, можно видеть испод бабочкиных крыльев. Так устроены собрания насекомых, принадлежащие казанским ученым Эверсману (*Эверсман* Эдуард Александрович (1794–1860) – профессор Казанского университета по кафедре ботаники и зоологии.) и Бутлерову (*Бутлеров* Александр Михайлович (1828–1886) – великий русский ученый-химик, создатель современной органической химии; был одно время профессором Казанского университета. По материнской линии приходился родственником Аксакову.).

[^^^]

Эти бабочки теперь не попадают в Казани.

[^^^]

Род Сфинкса. Около Казани ее уже нет, и она встречается не ближе Сарепты.

[^^^]

Вероятно, память обманывает меня: булавообразных усов у Барашка, по всем рисункам, нет, а есть обыкновенные усики сумеречных бабочек, широкие в середине и узенькие к концам.

[^^^]

Потому что они сами всегда устраивают себя
в всячем положении.

[^^^]

У Блуменбаха, в русском переводе, он назван *Подалирий*, но мы всегда произносили по-латыни: *Podalirius*.

[^^^]

Теперь считается до десяти видов Кавалеров, водящихся в Европе; китайские же бабочки (Aglia и Strex) превосходят их величиною вчетверо.

[^^^]

Чемесов сад существует и теперь, но находится в большом запущении и кроликов уже давно нет.

[^^^]

Вот как тот же почтенный молодой ученый, о котором я уже говорил, Н. П. В., объясняет это странное явление: «Существует четырехкрылое насекомое, называемое *Наездник*; оно кладет свои яйца в гусеницы бабочек; вышедшие из этих яиц червячки живут в гусенице и питаются ее внутренностями, что не мешает ей превратиться в куколку. В ней совершается превращение червячков *Наездника*, которые потом и выходят из нее, так что вместо ожидаемой бабочки является отвратительная оса, или *Наездник*».

[^^^]

Несение неоплодотворенных яиц, из которых развивались гусеницы, было давно известно и впервые подмечено у *тли* и очень маленькой породы бабочек *Psyche*. Но мы тогда ничего этого не знали. Одновременно с открытием подобного явления, о котором сейчас будет сказано, оно было замечено у шелковичной бабочки.

[^^^]

Брошюра «Три открытия в естественной истории пчелы», написанная незабвенным, так рано погибшим, даровитым профессором Московского университета, К. Ф. Рулье, напечатанная в Москве 1857 года.

[^^^]

Вершок – черенок.

[^^^]

Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.

[^^^]

Синель – сирень.

[^^^]

Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (*Liparis Salicis*).

[^^^]

Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.

[^^^]

Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».

[^^^]

Озерецковский Николай Яковлевич (1750–1827) – ученый-путешественник, академик; Аксаков имеет, вероятно, в виду его книгу «Начальные основания естественной истории» (СПб. 1792).

[^^^]

Бабочек Павлинов находится три рода: большой, средний и малый.

[^^^]

Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде.

[^^^]

Бабочка эта, то есть Сфинкс, Celerio, не водится в России, по словам г. Вагнера. Итак, надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого Сфинкса.

[^^^]